



Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Филология. Журналистика. 2024. Т. 24, вып. 4. С. 395–403

Izvestiya of Saratov University. Philology. Journalism, 2024, vol. 24, iss. 4, pp. 395–403

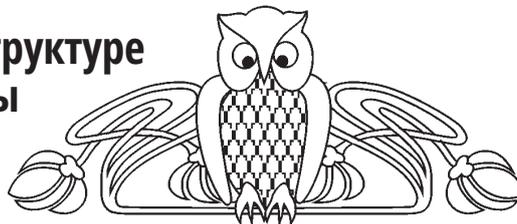
<https://bonjour.sgu.ru>

<https://doi.org/10.18500/1817-7115-2024-24-4-395-403>, EDN: FHGDDF

Научная статья

УДК 821.133.1.09-94+929[Шатобриан+Санд]

Образ детства в повествовательной структуре мемуарно-автобиографической прозы (Ф. Р. де Шатобриан и Жорж Санд)



А. В. Попова

Донецкий государственный университет, Россия, 283001, г. Донецк, ул. Университетская, д. 24

Попова Анна Валентиновна, кандидат филологических наук, заведующий кафедрой зарубежной литературы, avp70@inbox.ru, <https://orcid.org/0000-0001-8189-7267>

Аннотация. Статья посвящена теме детства и особенностям его изображения в воспоминаниях Ф. Р. де Шатобриана и Жорж Санд. Детство рассматривается как неотъемлемый структурный элемент повествования о себе, художественная концепция которого формируется в контексте эпохи и литературной традиции. Осмысление закономерностей этого процесса важно с литературоведческой точки зрения, так как позволяет выявить разнообразие форм романтического мировидения, проследить их динамику. Сравнительный анализ текстов, созданных авторами, которые принадлежат к разным литературным поколениям и в своем творчестве представляют крайние точки французской романтической традиции, направлен на исследование закономерностей и индивидуальных особенностей репрезентации детства в рамках повествовательной модели, выработанной под влиянием романтизма. Сопоставление двух авторских концепций детства выявляет общеромантическую доминанту восприятия этого феномена, демонстрирует эволюцию взглядов на ребенка в культуре первой половины XIX в., а также обнаруживает специфику самовосприятия мемуаристов, выраженную в способах воссоздания детства. Установлено, что Шатобриан в изображении детства сконцентрирован на собственных, уникальных, по его мнению, переживаниях, позволяющих уже в ребенке угадать черты будущего «сына века», одинокого и разочарованного скитальца, тогда как у Жорж Санд личный опыт становится материалом для анализа феномена детства как такового. На основе собственных воспоминаний она создает одновременно интимный и универсальный, психологически достоверный образ детства, тем самым расширяя палитру топов, сформированных предшественниками и предвосхищая открытия возрастной психологии. Предпринятое исследование позволяет сделать вывод, что две модели повествования, сохраняя общую для романтизма тенденцию к мифологизации детства, отчетливо фиксируют переход от выраженного эгоцентризма и интроспекции у старшего поколения романтиков к преодолению индивидуализма и поиску новых стратегий повествования у писателей, творивших на более позднем этапе французского романтизма и испытавших влияние новых эстетических, философских и социальных концепций.

Ключевые слова: романтизм, мемуары, автобиография, детство, Шатобриан, Жорж Санд

Для цитирования: Попова А. В. Образ детства в повествовательной структуре мемуарно-автобиографической прозы (Ф. Р. де Шатобриан и Жорж Санд) // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Филология. Журналистика. 2024. Т. 24, вып. 4. С. 395–403. <https://doi.org/10.18500/1817-7115-2024-24-4-395-403>, EDN: FHGDDF

Статья опубликована на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0)

Article

The representation of childhood in the autobiographical narrative structure (F.-R. de Chateaubriand and George Sand)

A. V. Popova

Donetsk State University, 24 Universitetskaya St., Donetsk 283001, Russia

Anna V. Popova, avp70@inbox.ru, <https://orcid.org/0000-0001-8189-7267>

Abstract. The article considers the theme of childhood and the specific features of its representation in the *Mémoires d'outre-tombe* by F. R. de Chateaubriand and *Histoire de ma vie* by Georges Sand. Childhood is seen as an integral structural element of the self-narrative, the artistic concept of which is formed in the context of the era and the existing literary tradition. The conceptualization of the mechanisms of this process seems to be important from the perspective of literary studies, as it allows us to reveal the variety of forms of Romantic worldview and trace their dynamics. The comparative analysis of texts created by authors who belong to different literary generations and represent the extremes of the French Romantic tradition in their work is aimed at exploring the mechanisms and individual features of the childhood representation within the framework of the narrative model developed under the influence of Romanticism. The comparison of the two author's concepts of childhood reveals the general Romantic dominant perception of this phenomenon, demonstrates the evolution of views on the child in the culture of the first half of the 19th century, and also reveals the specific nature of memoirists' self-perception expressed in the techniques of recreating child-



hood. It is shown that Chateaubriand's portrayal of childhood is focused exclusively on his own, in his opinion, unique experiences that allow him to identify in a child the outlines of the future "son of the century", a lonely and frustrated wanderer, while for George Sand her personal experience becomes the material for analyzing the phenomenon of childhood itself. Using the material of her own memories, she creates both a deeply intimate and psychologically convincing image of childhood, thereby expanding the palette of topoi formed by her predecessors and forestalling the discoveries of age psychology. This study allows us to conclude that the two narrative models, while retaining the general Romantic tendency to mythologize childhood, also distinctly record the transition from the marked egocentrism and introspection of the older generation of Romantics to the overcoming of individualism and searching for new narrative strategies among writers who worked at a later stage of French Romanticism and were influenced by new aesthetic, philosophical and social concepts.

Keywords: Romanticism, memoirs, autobiography, childhood, Chateaubriand, George Sand

For citation: Popova A. V. The representation of childhood in the autobiographical narrative structure (F.-R. de Chateaubriand and George Sand). *Izvestiya of Saratov University. Philology. Journalism*, 2024, vol. 24, iss. 4, pp. 395–403 (in Russian). <https://doi.org/10.18500/1817-7115-2024-24-4-395-403>, EDN: FHGDDF

This is an open access article distributed under the terms of Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0)

Детство, по выражению И. С. Кона, – «универсальное биологическое явление»¹, поэтому закономерно, что в текстах биографического и автобиографического характера упоминание о нем – традиционный формальный элемент, который встречается уже у позднеантичных авторов. Вместе с тем по-настоящему заинтересованное отношение к этому жизненному периоду² формируется в европейской культуре лишь в эпоху Просвещения [2, с. 23–26], а уже в XIX в. под влиянием романтической эстетики намечаются тенденции, которые приведут к мировоззренческому перелому рубежа XIX–XX вв., когда в детстве будут видеть «сосредоточие всех жизненных и деятельных резервов личности» [3, с. 27]. Подхватывая и развивая руссоистскую традицию, писатели-романтики творят культ детства как счастливой поры невинности, максимума потенциальных возможностей, которые будут утрачены по мере взросления. И если в литературе романтизма дети, по словам Кона, еще предстают «символами некоего идеального мира», лишенными индивидуальности и воплощающими, по мнению ученого, скорее «отвлеченный образ невинности, близости к природе и чувствительности» [4, с. 8–9], то в автобиографических сочинениях авторы изображают не абстрактное, а свое собственное детство. Именно здесь оттачивается «виртуозное искусство его описания» [2, с. 26]. При этом, несмотря на практически неизменный набор структурных элементов повествования о детстве в автобиографиях XIX в. [5, р. 161], характер изображения этого жизненного периода не одинаков у разных авторов и зависит как

от их творческой манеры, так и от специфики социокультурного и литературного ландшафта того времени, когда эти тексты создаются.

Наглядной иллюстрацией динамики восприятия детства и способов его изображения могут служить «Замогильные записки» (*Mémoires d'outre-tombe*, 1848) Ф. Р. де Шатобриана (1768–1848) и «История моей жизни» (*Histoire de ma vie*, 1854–1855) Жорж Санд (настоящее имя Амандина Аврора Люсиль Дюпен, 1804–1876), хронологически близкие, но фактически относящиеся к крайним точкам французской романтической традиции. В этих автобиографических текстах, определивших, наряду с «Исповедью» Руссо, магистральные направления развития французской мемуарно-автобиографической прозы, описания первых лет жизни занимают значительное место и позволяют проследить, как в процессе самоидентификации формируется и осмысливается новый образ ребенка. Сопоставление двух авторских концепций детства – у Шатобриана и Жорж Санд – выявляет общеромантическую доминанту восприятия этого феномена, демонстрирует эволюцию взглядов на ребенка в культуре первой половины XIX в., а также обнаруживает индивидуальные особенности самовосприятия мемуаристов, нашедшие выражение в способах воссоздания детства.

Античные мыслители полагали, что телесное в ребенке преобладает над разумным, что душа его еще не развита до такой степени, чтобы обратиться к умопостигаемому, и довольствуется лишь ощущениями, а потому рассматривали его как существо незавершенное, которому еще только предстоит, путем воспитания, стать полноценным взрослым. Платон, рассуждая в «Законах» (*Νόμοι*, IV В.С.) о важности мусического воспитания и обосновывая тождественность развлечения, истины и пользы, замечает при этом, что «ни одно живое существо не рож-

¹ Как появляется детство (стенограмма радиопередачи «Наука 2.0» 28 мая 2009) // ПОЛИТ.РУ [аналитический портал]. URL: <https://polit.ru/article/2009/05/28/childhood/> (дата обращения: 10.07.2023).

² Под детством в данном случае понимается возрастной период до 12–13 лет, что в целом соответствует возрастной периодизации, принятой в психологии [1, с. 90].



дается на свет, обладая всем тем умом, какой подобает ему иметь в зрелых летах» [6, с. 123]. Аристотель же в сочинении «Эвдемова этика» (*Ἠθικὰ Εὐδημῆα*, IV В.С.) приравнивает ребенка к рабу, поскольку оба, будучи собственностью соответственно отца или господина, не являются субъектом права, и риторически вопрошает: «Что за жизнь у детей? Никто ведь в здравом уме не позволит повернуть свою жизнь вспять [7, с. 13]. Не более сочувственно отзывается о детях и христианский философ Августин, который в «Исповеди» (*Confessiones*, ca. 400) изображает ребенка как грешника, несущего на себе бремя первородного греха [8, с. 12]. Изначальная невинность ребенка, таким образом, ставится под сомнение, а первородный грех воспринимается как общий для всех людей, независимо от их личной греховности. Собственно, в христианстве дитя почитается не за невинность души, а, скорее, как символ смирения из-за малости своей, поэтому, чтобы войти в Царствие Небесное, нужно уподобиться ребенку – т.е. умалиться³.

В. Лерман, проследившая эволюцию представлений о статусе ребенка в политико-правовых учениях разных эпох, также обращает внимание на неразумие как общую причину снисходительного отношения к этому возрасту и в качестве примера приводит, в частности, строки из трактата «Рассуждение о любовной страсти» (*Discours des passions de l'amour*, 1652), приписываемого Паскалю, в которых автор фактически вторит античным мыслителям, полагая, что до тех пор, пока ребенок не обретает способность полноценно мыслить, его существование не может считаться жизнью, а сам он – человеком [10]. Однако уже на рубеже XVII–XVIII вв. единоклассники в подобном отношении к детству становятся не таким полным, и в культурном сознании европейцев постепенно начинает утверждаться иной образ ребенка – все еще несостоявшегося взрослого, но уже не изначально греховного и неразумного, а недостаточно сформированного и потому допускающего ошибки, которые можно исправить воспитанием [11, с. 119–122]. Этот подход сохранит свою актуальность вплоть до начала XIX в., например, у Канта, который в статье

³ Например, уже в XIX в. православный проповедник и богослов, святитель Игнатий (Брянчанинов), толкуя известную фразу из Евангелия от Матфея [Мф: 18: 3-3], поясняет: «Отвлекая <...> от состояния мужей к состоянию младенцев, Бог попускает рабам Своим познать опытно немощь и повреждение падением естества человеческого» [9, с. 376].

«О педагогике» (*Über Pädagogik*, 1803) пишет: «Человек может стать человеком только путем воспитания» [12, с. 401].

Закономерно, что при таком восприятии детства изображение этого возраста в мемуарно-биографических текстах зачастую предстает в лаконичном и нередко формализованном виде. Отдельные более развернутые рассказы о детстве, встречающиеся в мемуарах XVII в., – скорее, исключение из правила [13, с. 234–243; 2, с. 13–16, 30–31, 121–122]. В качестве неотъемлемой составляющей личной истории детство начинает восприниматься благодаря Ж.-Ж. Руссо. Именно он был первым, кто не просто упомянул детские годы в своей «Исповеди» (*Les Confessions*, 1782), но и заговорил о детстве как о самостоятельном возрастном периоде, важном для формирования человеческой личности. Со временем описание детских лет в рассказе о себе превращается в нарративный стереотип наряду с историей рождения, взросления, пробуждения чувственности и входит в число типологических примет автобиографии. Так, Ф. Лежен, определяя границы и объем той разновидности литературы, которую он называет «личной» (*littérature intime*), помимо тождественности автора и повествователя и собственно автобиографического пакта, акцентирует наличие именно этого компонента, включая его в перечень эстетических признаков, маркирующих жанр автобиографии и позволяющих «запечатлеть личность во всей ее полноте» [14, р. 13].

В «Исповеди» Руссо рассказ о детстве еще достаточно лаконичен, он занимает не так много места в структуре повествования, чуть менее половины первой главы, и заканчивается на отметке 11–12 лет, когда герой, подвергнутый незаслуженному, по его мнению, наказанию за поломку гребня, утрачивает безусловное доверие к своим наставникам. По силе воздействия автор сравнивает это событие с грехопадением и изгнанием из рая: «Мы чувствовали то же, что, по рассказам, чувствовал первый человек в земном раю, когда уже утратил способность им наслаждаться» [15, с. 19]. Показательно, что утрата эта вызвана именно сломом в сознании Руссо, внезапным открытием несовершенства мира («какой переворот [renversement]⁴ в мыслях!» [15, с. 18]). Очарование детства рассеивается, и герой вступает во взрослую жизнь. Нетерпимость к несправедливости, равно как

⁴ В оригинале идея низвержения выражена более отчетливо благодаря существительному «renversement», одно из значений которого – «ниспровержение, падение».



и чувствительное сердце, предстают у Руссо теми качествами, которые характеризуют его личность и определяют его дальнейшую судьбу. Несмотря на пунктирность изложения, Руссо в «Исповеди» закрепляет повествовательную схему, которую затем так или иначе будут воспроизводить мемуаристы: история семьи или рода, обстоятельства рождения (часто неординарные), первые воспоминания, эмоциональное и нравственное познание мира, воспитание, доминанты характера. Именно в рассказе о детстве закладывается основа того образа, который автор впоследствии будет создавать или воссоздавать в своих воспоминаниях.

В культуре романтизма образ детства получает дальнейшее развитие, обретая новый смысл и концептуальное значение. В нем, в частности, воплощается извечный романтический конфликт между идеалом и действительностью, детство предстает как особый психологический феномен, а образ ребенка усложняется. Кризис рационалистической традиции в западноевропейской культуре приводит к тому, что близость к естественному состоянию уже не воспринимается как недостаток, а, напротив, абсолютизируется. Если в «Исповеди» Августин не сомневается в изначальной греховности ребенка, утверждая, что «младенцы невинны по своей телесной слабости, а не по душе своей» [8, с. 12], то, например, немецкий романтик Хенрик Стеффенс, напротив, задается вопросом: «Не есть ли младенец истиннейший идеалист? Этот идеализм детства и трогает нас столь несказанно, он окружает детей тайной, чудесной магией...» (цит. по: [16]). Он же в автобиографии «Пережитое» (*Was ich erlebte*, 1840), описывая свое возмущение, вызванное скептическими замечаниями родственников, отговаривавших его от занятий наукой и настаивавших на необходимости вначале приобрести профессию и прочно встать на ноги, замечает: «Выходит, изначально я ничего из себя не представлял и только в будущем, посредством так называемого опыта, должен был кем-то стать» [17]. Сходные взгляды на детство как самостоятельный возраст, имеющий свои особенности и преимущества, высказывает и французский историк романтического периода Ж. Мишле. В эссе «Народ» (*Le peuple*, 1846) он сетует, что «дети очень много теряют от того, что их так скоро “обтесывают”, заставляют так быстро переходить от жизни, где господствует инстинкт, к жизни, основанной на рассудке». Не отрицая необходимости развивать ум и мысли-

тельные способности ребенка, он, тем не менее, считает, что «этот прогресс является шагом назад» [18, с. 96]. Далее, в русле рассуждений Руссо, полагавшего, что «все выходит хорошим из рук Творца, все вырождается в руках человека» [19, с. 24], Мишле заключает: «Ребенок был маленьким богом, теперь он становится человеком» [18, с. 96].

Шатобриан и Жорж Санд, усваивая модель, предложенную Руссо, значительно преобразуют и развивают ее в соответствии с романтической поэтикой и индивидуальными творческими установками. Они традиционно обращают внимание на ситуации, маркирующие детство как невинную пору, исполненную ощущения тайны и волшебства. Жорж Санд неоднократно называет это время «золотым веком» (*âge d'or*) [20, vol. 1, p. 529, 605], встречается также сравнение локусов детства и царящей там атмосферы с «раем» (*paradis*) [20, vol. 1, p. 544, 586, 825]. У Шатобриана отсылки к идиллическому и библейскому топосам опосредованы, но не менее отчетливы – это и описание весны в Бретани, где «яблони, усыпанные карминными цветами, напоминают пышные букеты деревенских невест» [21, с. 37], и горькие слезы маленького Рене, в сопровождении аббата Порше отправляющегося из Комбурга, этого «безмятежного края невинности», в Дольский коллеж [22, p. 232–233].

Очарование мест, в которых прошли ранние годы мемуаристов, подчеркивается описанием замка как сказочного локуса (родовой замок в Комбурге у Шатобриана, княжеский дворец в Мадриде и полуразрушенный средневековый замок в Ноане у Жорж Санд). Оба также обращают внимание на то, какое завораживающее впечатление производило на них зрелище открытого огня (пламя в камине у Шатобриана [21, с. 47] и огонек свечи в детской у Жорж Санд [20, vol. 1, p. 530, 555]), как будоражили детское воображение народные песни и легенды, услышанные от домашних (и в «Замогильных записках», и в «Истории моей жизни» есть главы, подзаголовки которых содержат упоминание о привидении – «*Le revenant*» [22, p. 375; 20, vol. 1, p. 577]). Отчасти эти и другие параллели объясняются тем, что, несмотря на разницу в возрасте и сословном положении мемуаристов, оба текста создавались в одну эпоху. Кроме того, Жорж Санд росла у бабушки, аристократки, принадлежавшей к тому же поколению, что и родители Шатобриана, соответственно, детское времяпрепровождение, воссозданное ими, относится к одной культуре детства и обладает



сходными чертами – семейные вечера у камина, долгие переезды в карете, занятия с домашним учителем, прогулки на лоне природы, забавы с окрестной детворой и т.п. С другой стороны, акцентирование свойственной ребенку живости воображения, способности погружаться в мир фантазий (*rêverie*) [22, р. 256; 20, vol. 1, р. 821] свидетельствует о предрасположенности обоих авторов к литературному творчеству.

Вместе с тем есть и существенные отличия, обусловленные особенностями творческой манеры писателей и в целом их мироощущения. Если для Авроры мечтания – привычное, почти безотчетное состояние («Привычка, к задумчивости, усвоенная почти с колыбели и не осознаваемая мною» [20, vol. 1, р. 467]⁵), которое может быть вызвано детской песенкой [20, vol. 1, р. 537], очертаниями латунной решетки на дверце алькова, обтянутой зеленым сукном [20, vol. 1, р. 538], мамлюками в тюрбанах и шароварах, увиденными сквозь столбики мраморной балюстрады дворца Годоя в Мадриде [20, vol. 1, р. 572], или отблесками пламени в камине, подсвечивающими зеленую ткань старой ширмы [20, vol. 1, р. 630], то грезы Рене в «Замогильных записках» отличаются поистине космическими масштабами. Они рождаются не в маленькой парижской квартирке, не на залитой солнцем террасе и не в укромном уголке сада, но под мрачной сенью лесов, над кишасей людьми набережной Бреста, в сумрачной башне фамильного замка или на берегу шумящего моря («за этим выступающим вперед мысом не было ничего, кроме безбрежного океана и неизвестных миров; мое воображение резвилось на этих просторах» [22, р. 255]⁶).

И в «Замогильных записках», и в «Истории моей жизни» детство соседствует со старостью – в описаниях визитов в Планкуэ к бабушке по материнской линии у Шатобриана и в рассказе о жизни с госпожой Дюпен де Франкей у Жорж Санд. Этот романтический контраст, сближающий начало и конец жизни, колыбель и могилу, дает возможность острее почувствовать бег времени, но также показывает различия авторов как в мировосприятии, так и в их повествовательной стратегии. Шатобриан обращает внимание на неизбежность и безвозвратность утраты. Для него госпожа де Беде, ее сын и сестра, три старые девы, живущие по

соседству, – это воплощение той старой аристократической Франции, которая совсем скоро уйдет в небытие и возрождение которой станет делом всей жизни последнего отпрыска старого бретонского рода. Неслучайно качеством, определяющим его дальнейшую судьбу, Шатобриан в «Замогильных записках» называет честь (*honneur*): «Так завершился мой первый бой в защиту чести, которая стала кумиром моей жизни и которой я столько раз приносил в жертву покой, радости и состояние» [21, с. 44]. Здесь, так же как у Руссо, акцентирован знаковый момент формирования личности – желая во что бы то ни стало избежать унижительного наказания за проступок, одиннадцатилетний герой мемуаров набрасывается на своего наставника, устраивает потасовку и в конце концов добивается отмены публичной порки.

В «Истории моей жизни» появление антиномичной пары «детство – старость» обусловлено биографическими обстоятельствами. Круг общения девочки, переданной матерью на воспитание бабушке, которой на тот момент исполнился шестьдесят один год, помимо сверстников составляют в основном немолодые люди: пожилой учитель господин Дешартр, сводный брат бабушки, старый холостяк аббат де Бомон, а также их ровесники и ровесницы, которых мать Авроры насмешливо именовала «старыми графинями» [20, vol. 1, р. 614, 670, 673, 745, 944, 1009]. В отличие от Шатобриана, Жорж Санд, известная своими демократическими взглядами, видит в этих состарившихся аристократах жалкие обломки Старого порядка, нелепый внешний вид которых вызывает у ребенка отторжение. И если бретонскому сорванцу клеткой кажется Дольский коллеж, а бабушкин дом – островком подлинного счастья, то Аврора чувствует себя пленницей в бабушкиной спальне, пропитанной запахом ее духов: «Ее затемненная и пропахшая духами спальня вызывала мигрень и приступы судорожной зевоты» [20, vol. 1, р. 639]. Тем не менее она преданно ухаживает за ней в болезни, смиренно покоряется ее требованиям, не желая омрачать последние дни жизни дорогого ей человека. Стремление к независимости и одновременно чувство долга (*devoir*) по отношению к тем, кого любишь, готовность к самопожертвованию составляют основу характера героини «Истории моей жизни» и определяют личность писательницы, ее отношение к близким, к человечеству, к своему призванию: «Я несколько раз в жизни меняла свою точку зрения на ход и суть вещей

⁵ Здесь и далее перевод наш – А. П.

⁶ Цитаты из «Замогильных записок» Ф. Р. де Шатобриана даны в переводе О. Гринберг и В. Мильчиной, за исключением непереуведенных фрагментов, которые приводятся в переводе автора статьи.



по мере того, как углублялась и проясняла их, но все мои философские выводы относительно главного были сделаны раз и навсегда в тот момент, когда пережитые события, пустяковые или серьезные, заставляли мой рассудок напрямую задаться вопросом о долге» [20, vol. 1, p. 1088]). Ее книга воспоминаний – это тоже долг («un devoir de le faire» [20, vol. 1, p. 8]), который следует исполнить, чтобы сохранить для человечества часть истории, воплощенной в каждой отдельной личности.

В «Замогильных записках» постепенное разрушение уютного мирка дорогих сердцу стариков представлено как первая горькая утрата в череде грядущих потерь. Шатобриан визуализирует этот процесс при помощи излюбленной пространственной метафоры – смерть, собирая свою скорбную жатву, делает эту благословенную обитель «все более безлюдной, навсегда закрывая одну комнату за другой» [22, p. 196]. Воссоздаваемый в мемуарах мир, наполненный поэзией детства, проникнут тоской о безвозвратно ушедшем времени. В сочинении, которое сам автор называет зданием, возводимым «на обломках и развалинах [des ossements et des ruines]⁷» [21, с. 84], этот жизненный этап представлен как заверченный период, занимающий положенное ему место в четко спланированной структуре текста и только в нем существующий: «...я вновь окидываю взором мирные годы, покоящиеся в могиле, и возвращаюсь к воспоминаниям моего безмятежного детства» [21, с. 251]. При этом образ ребенка у Шатобриана также оказывается завершенным, существующим в пространстве прошлого и отделенным от повествователя непреодолимой временной дистанцией.

Мемуарист словно смотрит со стороны на своего героя, постфактум реконструируя его облик и чувства, усиленные контрастом с пережитыми несчастьями. Хрестоматийный эпизод, когда герой мемуаров, услышав пение дрозда в парке Монбуассье, мысленно переносится в Комбургские леса, где прошли его детские годы («Видение [Apparition] Комбурга» [21, с. 45–46]), наглядно иллюстрирует прием визуализации, используемый Шатобрианом в рассказе о своем детстве. Образы возникают подобно картинам или этюдам, на которых мемуарист видит себя ребенком, сам при этом оставаясь по эту сторону «рамы» и фиксируя увиденное: «При этих

⁷ В оригинале мотив безвозвратности утраты звучит острее, поскольку слово «ossements» означает «кости мертвых людей или животных».

волшебных звуках у меня **перед глазами** сразу встал отчий дом» [21, с. 46] (здесь и далее выделено нами. – А. П.); «...**перед глазами** у меня по сей день стоит поле, где я убил моего первого зайца» [21, с. 51]; «<...> я вновь **окидываю взором** мирные годы, покоящиеся в могиле, и возвращаюсь к воспоминаниям моего безмятежного детства» [21, с. 251]. Соответственно, раннее детство, которое обычно не помнят, он характеризует как возраст, «когда о жизни не остается воспоминаний и на расстоянии она **видится** [arragât] как смутный сон»⁸ [22, p. 570]. Эффект отстраненности усиливается безличными конструкциями с использованием местоимения «он»: «...меня сослали в Планкуэ» [21, с. 30]; «...меня привезли обратно в Сен-Мало» [21, с. 31]; «...нас обоих отводили к сестрам Куппар» [21, с. 32]; «On me revêtit d'un habit couleur violette [...меня переодели в костюм лилового цвета]» [22, p. 198] и т.д.

События детства подсвечиваются знаками будущей судьбы, уже известной мемуаристу: «Едва покинув материнское лоно, я узнал, что такое изгнание» [21, с. 30] (дословно – «я отправился в свое **первое изгнание** [je subis mon premier exil]); «<...> **первый шаг** Вечного жиды, которому не суждено больше остановиться» [22, p. 219]. Вспоминая случай в лесу, когда юный Рене сумел по солнцу определить дорогу домой, повествователь прибавляет: «<...> наблюдательность обличала во мне **будущего путешественника**. В лесах Америки я не раз вспоминал на закате комбургские леса: мои воспоминания перекликаются одно с другим» [21, с. 44]. Последнее замечание раскрывает принцип внутренней организации «Замогильных записок», когда последовательность описываемых событий совмещается с хронологией повествования и самого повествовательного акта [24, p. 14]. Это создает эффект эха или зеркального отражения, когда один и тот же объект, в данном случае – автобиографический образ, бесконечно умножается, но остается замкнутым на самом себе.

Шатобриана интересует не детство как таковое, а истоки его уникального и неповторимого «Я», о чем он прямо заявляет уже в первоначальной, прижизненно не публиковавшейся

⁸ Позднее, на рубеже XIX и XX вв., З. Фрейд, исследуя природу «покрывающих воспоминаний», обратит внимание на наглядный зрительный характер ранних детских воспоминаний, отметив, что его собственные воспоминания этого периода представляли «прямо-таки отчетливо наглядные сцены, сравнимые лишь с театральным действием» [23, с. 51–52].



редакции своего жизнеописания, озаглавленной «Воспоминания о моей жизни» (*Mémoires de ma vie*): «...прежде чем умереть, я хочу вернуться к лучшим годам жизни, чтобы объяснить свое необъяснимое сердце» [22, р. 61]. Обобщая свой личный опыт и укрупняя его до масштабов общечеловеческого, Шатобриан, тем не менее, говорит прежде всего о себе, подверстывая образ себя-ребенка к созданной им модели романтического героя и реализованной затем в собственной жизни [25, р. 115–117]. Образ юного Рене статичен, раз и навсегда задан. В мемуарах автор конструирует условный образ ребенка из тщательно отобранных воспоминаний, который свидетельствовал бы об изначальной уникальности будущего «чародея», властителя дум целого поколения.

У Жорж Санд, которая, напротив, акцентирует общность своего с читателем опыта и фиксирует сходство поведения, мышления и эмоциональных реакций у детей, образ Авроры динамичен и индивидуализирован. Ребенок в «Истории моей жизни» наделен субъектностью – у него есть собственный голос (прямая речь), собственное восприятие окружающей действительности. Героиня воспоминаний показана в сложном и непрерывном процессе взросления: меняются ее пристрастия, привычки, внешность, отношение к родным (мать, бабушка, брат) и домашним (учитель, горничные). Реакции Авроры обусловлены особенностями возрастной психологии. Так, сравнивая свою жизнь в парижском предместье Шайо, в бабушкином поместье в Ноане, в замках Шенонсо и Плесси-Пикар с пребыванием в эдемском саду, писательница почти всегда делает оговорку, что речь идет именно о ее тогдашнем, детском, восприятии и что именно детская оптика превращает окружающее пространство в райский уголок: «...я прекрасно понимаю, что это было самое скромное жилище на свете. Но в том возрасте оно казалось мне настоящим раем» [20, vol. 1, р. 544]; «Эта кровать и эта комната, тогда еще не утратившие своей свежести, показались мне раем» [20, vol. 1, р. 586]. При этом она апеллирует к опыту всего человечества, призывая читателей в свидетели подлинности изображаемых чувств: «Как видите, все мои детские воспоминания довольно наивны; но если каждый из моих читателей, знакомясь с моей историей, припомнит себя в этом возрасте, если он захочет воскресить в памяти свои самые первые переживания, если он ненадолго снова почувствует себя ребенком, значит, мы оба не

зря потратили время, потому что детство – это чистосердечие и доброта, а лучшие из нас – те, кто сумели, не растеряв, сохранить в себе как можно больше этой первозданной чистоты души и восприимчивости» [20, vol. 1, р. 548].

Мемуаристка берет на себя обязательство выступать от имени множества ей подобных, но лишенных способности и возможности высказаться. Свой долг она видит в том, чтобы собственным примером научить других, помочь людям, ее братьям и сестрам, познать себя («ради братского научения» [20, vol. 1, р. 9]). В отличие от Шатобриана, чей голос, обращенный к потомкам, звучит «из-за могилы», Жорж Санд ведет живой диалог с другом-читателем, которого она называет «мой читатель» [20, vol. 1, р. 50, 161, 181, 345, 728]. Ее мысль, подобно челноку, свободно перемещается между временными пластами, сплетая ткань повествования из отдельных фрагментов, рассказывающих о становлении внутреннего «Я» писательницы и раскрывающих важные вехи формирования творческой личности. Формула «ничего не упорядочивайте» [20, vol. 1, р. 961], услышанная в юности от духовника, становится основным принципом организации воспоминаний. Уже в первой главе автор сообщает читателю, что повествование будет неупорядоченным и бессвязным, структурно соответствующим беспорядочному ходу мыслей [20, vol. 1, р. 13]. Это размывает границы между прошлым и настоящим, и потому, несмотря на традиционную для автобиографических текстов дистанцию между настоящим повествователем и временем его детства, в «Истории моей жизни» их не разделяет непреодолимая преграда. В рассказ о детстве то и дело вторгаются наблюдения Жорж Санд над своими собственными детьми, устанавливаются соответствия, выявляются закономерности возрастного развития, универсальные особенности детской психологии. Все это образует единое пространство воспоминаний, в которых не всегда соблюдается хронология событий, а прошлое неразрывно связано с настоящим и наоборот («у меня не всегда получается описывать свою жизнь последовательно, в форме связного рассказа, потому что я не всегда могу ясно вспомнить точный порядок мелких событий, о которых веду речь» [20, vol. 1, р. 799]).

Логика повествования в «Истории моей жизни» продиктована также глубокой убежденностью писательницы во взаимосвязи всех людей и взаимообусловленности личной и всеобщей истории. В отличие от Шатобриана,



который, не отрицая, что «каждый из нас по одиночке созидает цепь всеобщей истории» [21, с 205], настаивал, тем не менее, на единичности отдельной судьбы («Всякий человек заключает в себе особый мир, чуждый общим законам и судьбам веков» [21, с 205]), Жорж Санд исходила из того, что «в каждом человеке воплощена сокровенная история человечества» [20, vol. 1, p. 307]. Следовательно, чтобы понять себя, нужно обратиться к истории своей семьи, своей страны, ощутить себя частью человеческого рода, тысячей невидимых нитей связанной с прошлым, настоящим и будущим, иначе «человек, который описывает свою собственную жизнь изолированно, не соотнося ее с жизнью ближних, так и останется загадкой, которую придется разгадывать» [20, vol. 1, p. 307]. Этот принцип солидарности, сформулированный уже в предисловии (так называемый солидарный пакт), находит выражение не только на уровне изображения общественно-политических событий или семейной истории, но и в индивидуальной биографии. Как прошлое живет в настоящем, как предки живут в своих потомках, так и в рамках отдельной человеческой личности ребенок продолжает жить во взрослом.

Эта неразрывная связь находит выражение в способах воссоздания картин детства. При том что и здесь преобладают зрительные образы, точка видения смещается от автора-повествователя к герою – читатель смотрит на мир глазами ребенка. В рассказе о самом раннем своем воспоминании, когда в двухлетнем возрасте, выпав из рук няньки, Аврора ударила головой о мраморную каминную полку, писательница замечает: «...я тогда ясно **увидела и вижу до сих пор** красноватый мрамор камина, свою кровь, стекающую по нему и совершенно потерянное лицо нашей прислуги» [20, vol. 1, p. 530]. Ощущение непрерывности усиливается повторяющимися формулировками: «я и сейчас вижу», «я вижу до сих пор». В изображении Жорж Санд ее детство не представляется чем-то навсегда ушедшим, завершенным, более того, она заявляет, что, будучи взрослой, сохранила в себе детскую непосредственность восприятия [20, vol. 1, p. 846].

Нет в воспоминаниях и четкой возрастной границы, фиксирующей окончание этого жизненного этапа: после третьей части, озаглавленной «От детства к юности» и охватывающей период с 1810 по 1819 г., когда Авроре исполнилось пятнадцать лет, названия последующих частей уже не содержат указаний на

возраст. Для Жорж Санд детство – не столько количество прожитых лет, сколько особое состояние сознания, балансирующего между мечтой и реальностью, «состояние, полное тайн и необъяснимых чудес» [20, vol. 1, p. 533], свойственное детям и творческим натурам. Став писателем, она не утрачивает этой способности преображать обыденность [20, vol. 1, p. 630]. Если Шатобриан рисует детство как навеки потерянный рай, то Жорж Санд носит этот рай в себе, всякий раз силой воображения трансформируя окружающую реальность, создавая мнимый оазис (oasis fictive) и таким образом реализуя свое детское видение, мечту о золотом веке [20, vol. 2, p. 41]. Воплощением рая на земле становится для нее родовое поместье в Ноане, куда писательница неизменно возвращалась и где она могла предаваться любимым развлечениям своего детства – купанию в реке, прогулкам на свежем воздухе и кукольному театру. На склоне лет она сочиняет волшебные сказки для внуков, шьет костюмы для кукольной труппы своего сына Мориса, участвует в шумных домашних праздниках с плясками и маскарадами и по-прежнему способна «дурачиться с наслаждением» и испытывать «беспричинное упоение» (цит. по: [26, с. 395]).

Различия в отношении к собственному детству, в способах его воссоздания и интерпретации у Шатобриана и Жорж Санд свидетельствуют об эволюции романтической мысли. Если Шатобриан в изображении детства сконцентрирован исключительно на собственных, ни на что не похожих, по его мнению, переживаниях, позволяющих уже в ребенке увидеть очертания будущего «сына века», одинокого и разочарованного скитальца, то Жорж Санд, анализируя личный опыт, создает одновременно глубоко интимный и психологически убедительный образ детства, тем самым расширяя палитру топосов, сформированных предшественниками, и предвосхищая современное отношение к этому периоду человеческой жизни, нашедшее концентрированное выражение в формуле Сент-Экзюпери «Все мы родом из детства». Результатом размышлений над сущностью и предназначением художественного творчества, его истоками и формами в «Истории моей жизни» становится стремление выйти за рамки индивидуального опыта, ориентация на диалог, реализация принципа единства, определявшего общественные и литературные идеалы писательницы. Две модели повествова-



ния, сохраняя общеромантическую тенденцию к мифологизации детства как счастливой поры единения невинной души с мирозданием, акцентирование способности ребенка к постижению иррациональных сторон бытия, сближающей его с поэтом-творцом, наглядно демонстрируют переход от крайней степени эгоцентризма и интроспекции старшего поколения романтиков к преодолению индивидуализма, поиску новых повествовательных стратегий в сочинениях писателей, творивших на более позднем этапе французского романтизма, испытавших влияние новых эстетических, философских и социальных теорий.

Список литературы

1. Психология человека от рождения до смерти / под общ. ред. А. А. Реана. М. : АСТ, 2015. 656 с. (Психология. Высший курс).
2. Детство в европейских автобиографиях. От Античности до Нового времени : антология / ред.-сост. В. Г. Безрогов, Ю. П. Зарецкий, О. Е. Кошелева. СПб. : Алетей, 2019. 622 с. (Независимый альянс).
3. Мамычева Д. И. Феномен детства в европейской культуре: от скрытого дискурса к научному знанию : автореф. дис. ... канд. культурологии. СПб., 2009. 29 с.
4. Кон И. С. Ребенок и общество : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по психологическим и педагогическим специальностям. М. : Академия, 2003. 336 с. (Высшее профессиональное образование. Психология).
5. Diaz B. «L'enfance au féminin» : le récit d'enfance et ses modèles dans des autobiographies de femmes au XIX^e siècle // Le Récit d'enfance et ses modèles / édité par Anne Chevalier et Carole Dornier. Caen : Presses universitaires de Caen, 2003. P. 161–176. <https://doi.org/10.4000/books.rus.10020>
6. Платон. Собр. соч. : в 4 т. Т. 4. М. : Мысль, 1994. 830 с.
7. Аристотель. Евдемова этика. М. : ИФ РАН, 2005. 448 с.
8. Августин Аврелий. Исповедь. Петр Абеляр. История моих бедствий. М. : Республика, 1992. 335 с.
9. Полное собрание творений и писем святителя Игнатия Брянчанинова : в 8 т. Т. 4. Приношение современному монашеству. М. : Паломник, 2014. 624 с.
10. Le Grand V. La naissance de l'enfant dans l'histoire des idées politiques // Cahiers de la Recherche sur les Droits Fondamentaux. 2006. № 5. P. 11–22. <https://doi.org/10.4000/crdf.7117>.
11. Арьес Ф. Ребенок и семейная жизнь при Старом порядке. Екатеринбург : Изд-во Уральского ун-та, 1999. 416 с.
12. Кант И. Собр. соч. : в 8 т. : юбилейное издание 1794–1994 : пер. с нем. / под общ. ред. А. В. Гулыги. М. : ЧОРО, 1994. 718 с. (Мировая философская мысль).
13. Павлова С. Ю. Автобиографизм в мемуарах французских аристократов второй половины XVII века. Саратов : Изд-во Саратовского ун-та, 2020. 356 с.
14. Lejeune Ph. L'autobiographie en France. Paris : Colin, 1971. 272 p.
15. Руссо Ж.-Ж. Исповедь. М. : Захаров, 2004. 704 с.
16. Головина Л. Из чего состоит романтизм? Основные понятия и темы // Лаврус – просветительский проект Третьяковской галереи : [сайт]. URL: <https://lavrus.tretyakov.ru/publications/iz-chego-sostoit-romantizm/> (дата обращения: 10.07.2023).
17. Steffens H. Was ich erlebte. Leipzig : Dieterich'sche Verlagsbuchhandlung, 1938. 460 S.
18. Мишле Ж. Народ. М. : Наука, 1965. 207 с.
19. Руссо Ж.-Ж. Эмиль, или О воспитании // Руссо Ж.-Ж. Педагогические сочинения : в 2 т. Т. 1. М. : Педагогика, 1981. 654 с.
20. Sand G. Histoire de ma vie, Œuvres autobiographiques / G. Lubin (éd.) : en 2 vols. Paris : Gallimard. Vol. 1. 1970. 1470 p.; Vol. 2, 1971. 1638 p. (Bibliothèque de la Pléiade).
21. Шатобриан Ф. Р. де. Замогильные записки. М. : Изд-во Сабашниковых, 1995. 736 с.
22. Chateaubriand F.-R. de. Mémoires d'outre-tombe / J.-Cl. Berchet (éd.) : en 4 vols. Paris : Bords, 1989. 800 p. (Coll. «Classiques Garnier». Vol. 1).
23. Фрейд З. Психопатология обыденной жизни. М. : «Современные проблемы» Н. А. Столяр, 1923. 256 с. (Научная библиотека «Современных проблем»).
24. Berchet J.-Cl. Préface // Chateaubriand F.-R. de. Mémoires d'outre-tombe : en 4 vols. Paris : Bords, 1989. P. 5–49. (Coll. «Classiques Garnier». Vol. 1).
25. Fumaroli M. Chateaubriand: Poésie et Terreur. Paris : Editions de Falloi, 2003. 800 p.
26. Моруа А. Жорж Санд. М. : Молодая гвардия, 1968. 416 с.

Поступила в редакцию 18.04.2024; одобрена после рецензирования 28.04.2024; принята к публикации 28.08.2024; опубликована 29.11.2024

The article was submitted 18.04.2024; approved after reviewing 28.04.2024; accepted for publication 28.08.2024; published 29.11.2024